

Он пытался идти против течения

Лит. газета. — 1995. — 20 сент. — с. 8.

Афанасию Салынскому в сентябре исполнилось бы 75...

С тех дней, что мы познакомились (вероятно, в начале 70-х), и до самых последних дней его облик был отпечатан для меня в одну форму, почти ненарушимую. Седой, коренастый, сжатый, как пружина. Крепкое, мужское рукопожатие, и при этом всегда — чуть-чуть напряженный, даже настоженный, изучающий взгляд. Государственный человек. И человек театра.

Он знал тайные пружины государственной жизни, к которой его призвали молодым. Его напряжение шло — могу лишь догадываться — от его двоемирия, которое было тогда всеобщей основой человеческого поведения. Формы того двоемирия были разными, но он был на виду, и его двоемирие было публичным, очевидным. Он нес это двоемирие достойно, без всякого победоносного ликования. Не увивался властью, а как-то умело ею распоряжался. Он был начисто лишен барственной наглости или цинизма, столь свойственного писательским генералам. Будучи драматургом, который знал вкус не выдуманного, а настоящего театрального успеха, после "Барабанщицы" пытался найти свою театральную землю и свой жанр. Театр Армии его домом не стал. Он обрел его в Театре имени Маяковского. Андрей Гончаров лучше всех понимал Салынского и поставил все его основные пьесы. Но радости настоящего театрального товарищества или братства — насколько я это чувствовал — он не знал.

Он был не просто драматургом — был ведущим советским драматургом, то есть человеком определенной эпохи, определенной культуры и определенного поведения. Он был писателем, причастным к тому Ордену, который имел тогда власть. Он существовал в предлагаемых обстоятельствах, которые диктовали многое в его жизни. Причастность к Ордену осложнялась множеством человеческих примесей, которые делали Салынского фигурой чрезвычайно своеобразной. Душой его дома и всей его частной жизни была Раиса Григорьевна. Они встретились в годы войны, встретились навсегда. В ней не было расовой чистоты, необходимой по канону. Одно из этого обстоятельства было достаточно, чтобы сделать фигуру государственного человека и писателя уязвимой. Он это прекрасно сознавал — не сомневался.

У него было совершенно особое, если

хотите, благоговейное отношение к Слову, провинциальное, почти гимназическое, учительское. Может быть, это отношение к профессии и опыт войны, который был для него свят, не позволяли ему изгибаться до той степени, которая тогда требовалась. Он стремился сохранить не только осанку, но и душу. Служа власти, он никогда не был холуем этой власти. Иногда позволял себе неслыханные вещи. В траурный день в фойе Театра имени Маяковского я вспомнил, что он был единственным, кто "воздержался", когда Солженицына изгоняли из Союза писателей. Тут же с места меня поправили — он голосовал "против". Я не сверялся с протоколом, но знаю одно: "против" или "воздержался" в той ситуации значило одно и то же. Это был серьезный поступок, род бунта, который требовал от государственного драматурга немалого личного мужества.

Начиная с конца 70-х годов он стал показывать мне свои новые пьесы — сначала как завлиту Театра Советской Армии, потом как завлиту МХАТа. Каждый раз поражал чистотой и вылизанностью машинописной копии. Если менял несколько строк, то заменял весь экземпляр. В этом тоже было что-то от гимназического учителя. Уважение к Тексту как таковому. Он и в журнале "Театр" привечал тех, кто обладал неискоренимой любовью к Слову, которая пересиливала все страхи. Салынскому мы обязаны тем, что в журнале появлялись тогда замечательные работы Бориса Зингермана, Инны Соловьевой, Майи Туровской — он прекрасно понимал, какого рода Тексты печатает. И втайне гордился этим. В ситуации двоемирия он держал в редколлегии рядом Софронова и Товстоногова. Но это же позволяло ему вести один из лучших театральных журналов того времени. Сейчас это особенно ясно.

Его влекло в мир крупных социальных идей — это отвечало его рангу государственного человека и писателя. Но плывя в общих берегах, он пытался не раз пойти против течения. Тут возникали конфликты с властью. Его "Летние прогулки" коверкали и запрещали, "Молва" вызвала нескрываемую неприязнь тех, кто тогда правил театром. Знаю это не понаслышке, по собственному опыту.

Автор "Молвы" любил создавать то, что можно было бы назвать эмблематическим

героем. Он дал советской сцене по крайней мере три такие человеческие "эмблемы" — Барабанщица, Мария и Иван Шишлов. Последняя эмблема, укорененная в искусстве 20-х годов, явно соотносенная с открытиями Андрея Платонова, была его репликой в том, что тогда называли "генеральной темой". Салынский усомнился и в теме, и в герое. Он усомнился в Ване Шишлове, который, поверив лозунгам революции, начал строить в поселке Птюнька светлый быт. Он написал историю о том, как из самых лучших побуждений человек уничтожает и опустошает страну. Своими тугими и тощими мозгами, переработав мешанину великих и ничтожных книг, Ваня решил осчастливить Россию. Вселенские памятники, всеобщее доносительство и ненависть — результат деятельности революционного энтузиаста. Он кончает самоубийством. Только что бегал с наганом, всех стращал и пугал — и вот лежит, уткнувшись в те самые кирпичи, из которых собирался выстроить неслыханный монумент председателю поселкового совета...

В пьесе этой было много лирического, глубоко человеческого. Самое "объективное" из искусств — драма без этой личной подкладки не живет, она питается из тех же лирических источников. Но предлагаемые обстоятельства не позволяли ему пить из источников своей жизни с той степенью свободы, которая необходима.

Не стоит преувеличивать его "диссидентство". Для него многие вещи, которые сегодня кажутся немислимыми и невероятными, были незыблемыми и серьезными. Он жил в эпоху, когда принятая система ценностей казалась установленной раз и навсегда. Вот это самое "навсегда" — одно из главных чувств, которое владело им и было основой того, что можно назвать советской цивилизацией. Повторяю, он разделял нормы ушедшей эпохи, но душа его этим не исчерпывалась. С течением лет, когда между нами возникло доверие, он позволял себе "высказываться". Говорил довольно резко и точно, но при этом основ никогда не касался. Он видел страшное искривление быта, человеческих отношений, но относил это — как и многие в той системе ценностей — к тому, что можно исправить, отчистить, привести в порядок...

А. СМЕЛЯНСКИЙ

AM